

Самое
лучшее
дело
в жизни
людей
это
любить
и
быть
любимым

Гобсеков

Annotation

В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афолина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они приносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.

- - [Виктор Астафьев](#)
 - [Тихая птица](#)
 - [Дуда](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Виктор Астафьев

Рассказы

Тихая птица

Старая скопа, чуть пошевеливая тряпично-вялыми, дырочатыми во взмахе крыльями, плавно и упрямо кружилась над Енисеем, выглядывая добычу.

Выше по реке огромная гидростанция перемалывала воду, обращая силу и мощь ее в электроэнергию, и тугими, круто свитыми волнами, ударом ли зеленого от напряжения слива, гулом ли могучих машин и кружением колес оглушало иль придавливало мелкую, реже крупную рыбу. Плыла она кверху брюхом, шевелила жабрами то открывая небу красный их жар, то закрывая на вдохе хрустящие крышки жабр в узкие щели и настойчиво пытаюсь опрокинуться на бок, затем на белое, чуткое брюхо. Иной рыбине удавалось стать на ребро, кверху «святым пером», и даже на некоторое время разворотиться головой встречь течению, бороться с ним, рассекать воду, упираясь хвостом в струю, упрямо плыть вверх и вверх, куда-то туда, где исток рыбьего рода или где была когда-то большая вольная вода вечности, заронившая в рыбий мозг неистребимый зов к движению, к воде обетованной или к чему-то, так и не отгаданному хитрым человеком, который делает вид, будто все вокруг постиг, а уж про такую молчаливую тварь, как рыба, и знать-то нечего — она и годна лишь в котел да на сковородку.

В первые годы работы гидростанции, как и на всех загороженных реках, рыбы у плотины толклось много и хватало ее всем: и птицам, и зверям, даже ненасытным воронам хватало. И людям, которых тут, как и ворон, звали стервятниками за то, что они вылавливали полудохлую, а то и дохлую рыбу, хватало и на пропой и на закуску.

Но прошли годы, рыба, истолченная водой и железом, которая померла, которая нашла другие пути и воды, зашла и обжила их, и редко уж, редко пронесет по Енисею, обмелевшему, суетливому, со дна вывернутому, будто старый овчинный тулуп, галечными, серыми шиверами и отмелями, зевающего окунька либо судорожно шепчущую что-то вялым ртом сорожонку, искрящегося чешуею ельчишку, и тогда старая скопа из лохматого, малоподвижного существа, похожего на истрепанную меховую шапку, скуки ради кем-то кинутую в небо, сразу преображалась, сжав тело и крылья, падала стремительно и расчетливо вниз, ловко с одного захода брала с воды добычу.

Скопа жила в рыжих скалах, продырявленных пещерами, по левому

берегу Енисея. На одиноком, ветром остеганном дереве было у нее и начинало уже рассыпаться издалека видное гнездо. Здесь, на левом берегу реки, не так еще шумно и людно, как на правом, редко, как бы крадучись, по кромке каменистого берега проковыляет к дачам частный «жигуленок» или прохрапит напряженным мотором самосвал с уворованным бетоном, грузовик с гвоздями и пиломатериалами.

Скопа привыкла к этому украдчивому, рвущемуся шуму и редкому движению, да и живет она высоко. Под деревом, одиноким и полузасохшим, в расщелине, заросшей жимолостью, шипицей и таволожником, у нее есть спокойная засидка. Она там спит и может о чем-то думать свою птичью, никому не ведомую думу, а над нею проносятся ветра, самолеты, хлещутся летами и оседают меж камней осенями торопливые и какие-то беспокойные листья, сорит обломками сучков и прелью гнезда старое дерево. К одиночеству скопе не привыкать: одиночество — удел хищника, даже такого смиренного, как скопа, очищающего от дохлятины и больной рыбы большие и малые водоемы, в особенности новые, так страшно загаженные всякой зарослью водорослей, еще не наладившие ни берегов, ни жизни водяной, ни погоды, ни природы.

Пищи старой скопе надо уже немного. Летний день велик, и она углядела бы и схватила с воды пяток-другой рыбок, не спеша расклевала бы их в камнях, и мышки за нею подобрали бы, источили и косточки. У мышек очень острые резцы, их зубу любая кость дается. Это они, мышки, истачивают и обращают в прах сброшенные в тайге олени и сохатинные рога, павших от ран и болезней зверьков и зверей: мышка, ворон, скопа — санитары, и какие санитары вод и лесов!

Но стара скопа, стара. Затупились когти на ее лапах и очерствела на них кожа, ссохлись пальцы. Чтобы донести пойманную добычу до скал, надо скопе крепче зажать ее в когтях, и она садится на сплавную бону, сделанную из пиленого бруса, широкую и удобную бону, добывает клювом рыбину, если она еще живая, и пробует упрыгать, скатиться с боны, затем уже уверенно берет птица в лапы, зажимает в когтях рыбину и неспешно, махая крылами, направляется в скалы, в рыжие, древние камни, наполненные мудрым молчанием тысячелетий, чтобы там, в горделивой, высокой дали, попытаться, очистить о камни клюв и, отдыхая, глядеть вниз, на суetyающиеся по реке моторки, катера и буксиры, на «Ракету», детской игрушкой пролетающую то вверх, то вниз по реке. У нее, у «Ракеты», и дымок-то сзади какой-то легкий, тоже игрушечный. Качнет куда-то и зачем-то плывущие бревна, пошевелит скрипучую бону, ударит по берегу, катнет отточенный волной камешник, выбросив на него кору, щепу, обломки

деревьев, мусор и мазутные тряпки. И долго, уже после того, как «Ракета» унесется, исчезнет за островами, среди городских, недвижимых громад, возле берега будет еще мутной полосой поплескиваться успокаиваться и отстаиваться вода. И, задремывая, старая, высокая птица раздвоит в зрачке мир: солнечное поднебесье с животворительной голубизной — в верхней половине — и мелкий, суетный, нижний мир, исходящий шумом и вонью, с этой все колышущейся, все бьющейся в берег, грязной, взбулгаченной полоской воды.

Отдохнет, успокоится, наберется сил старая птица — и снова на работу, снова круг за кругом над рекой, словно в бесконечном, утомительном и сладком сне, парит, неприкаянная, всеми забытая душа. А по берегу на бонах и на бревнах сидят вороны и сторожат свой момент. В Сибири вороны черны, что головешки, никакого просвета на теле, никаких теней и оттенков, и характер у здешней вороны, что у черного каторжника: ни себе, ни птицам, ни людям от нее покоя нет. Вместе с сороками ворона тащит все, что уцелит глаз, вплоть до мыла во дворе и на пристани. Беспощадно чистит скворечники и гнезда от яиц и птенцов, дерет зазевавшихся цыпущек, рвет харч из рюкзака у забывчивого, мечтательного рыбакишки. Друг дружку вороны тоже не жалуют: видят, что какой-то прониры повезло, раскопала она что-то или стибрила, в клюве добычу несет, похарчиться метит — немедленно оравой бросаются догонять, отбивать — братство тут не в чести. Ворона, которая постарей да поопытней, съестное урвет или добудет — скорее молчком махает в бурьян, под застреху сарая либо в заломы бровей и там, воровски озираясь, поскорей жадно исклевывает в одиночку — корку хлеба, дохлятину, случается, и кильку в томате выкушает. Алкаши напьются на берегу, посваливаются, ворона у них все тут и подберет, издолбит; один раз из стакана бормотухи клювом хватанула, головой затрясла, к реке попрыгала — горло промывать: бормотуху вороны еще не освоили.

За скопой вороны никогда не бросаются сразу. Увидев, что та разжилась рыбкой, они приотпустят ее до середины реки и тогда с торжествующим, враждебным криком и гомоном бросаются вслед за добытчицей, быстро настигают и атакуют ее со всех сторон, рыча при этом и каркая. Кажется, я даже разбираю, что они кричат: «Отдай, хар-харя, отдай! Наш харрррч! Харрч!..»

Скопа какое-то время увертывается, вихляется, жметя к воде, скользит над рекой. Вот уж и берег недалеко, и скалы с родными расщелинами близки — там разбойницам-воронам ничего с нею не сделать, там она спрячется от черной банды в камнях, в сохлом, колючем

кустарнике. Скопа умеет прятаться, умеет найти такое место и так засесть в ухоронке, так сложится вся и замрет, что сама сделается похожей на камень, даже шакалье всезрящее око вороны не различит ее в камнях.

Но скопу гонит черная банда, наторевшая в разбое и воровстве, ее подшибают снизу, налетают сверху, будто вражеские истребители, и долбят клювами, цапают лапами, и орут оглушительно, стайно, вразнобой и все вместе: «Харрррч! Харрч! Хар! Хар! Хар...» Вот и перья вышибли иль вытеребили из старой птицы, по хребту с прореженным пером и когтями прошлись. И не выдержала скопа натиска, разжала скрюченные лапы, уронила из когтей добычу. Серебрушкой сверкнув на солнце, рыбешка упала в воду, вороны, клубясь, закружились над ней, погнались вниз по течению, хлопаются, орут, толкают друг дружку, но рыбку с воды взять не могут и в конце концов теряют ее и с руганью рассыпаются по сторонам. Рассевшись по бревнам, они клювами укладывают на себе перья, приводят себя в порядок и угрюмо ворчат: «Уплыл харррч! Улетела харрря!» — однако нам торопиться, мол, некуда, наша жизнь такая — ждать, терпеть и надеяться. Но над заломами из бревен, над бонами и всей вороньей сворой почитай еще с полчаса мотается, хлопает крыльями мама-ворона и кроет своих детушек подслушанными на берегу, от пьянчуг почерпнутыми словами, главным образом блатными: «Фрайеррра! Харрри! Трррепачи! Тррретий срррок на земле мотаете, а жррратву, корррм урррвать не можете, хмырри!» Детки, смиренно подогнув лапы, прижимаются брюхом к нагретым бревнам, безропотно внимают ругани родителей, учатся уму-разуму.

Скопа, лишившись добычи, всякий раз издавала протяжный, тонкий стон и махала слабевшими крыльями к берегу, к скалам, и я никогда не видел — куда она улетает, где садится, потому что вблизи и на фоне скал она делалась незаметной. Какое-то время еще мелькало что-то серенькое, мохнатое, трепыхалось ночной бабочкой иль пыльным листиком в воздухе, но свет скал, их рыжевато-серая тень постепенно вбирали в себя птицу, и всякое движение замирало, ничто не тревожило покой каменных громад — ни крики, ни стон, ни взмахи крыл, и только ночью, сперва за Караульным быком, потом на спуске от него и по узкой полосе берега мелькал иногда свет машинных фар да прорезал темноту и полоской ложился на воду огонек терпеливого рыбака иль приютившегося у реки туриста.

К осени скопа над Енисеем появляться перестала. Улетела ли тихая птица в другие края из приенисейских скал, подалась ли на просторное водохранилище, где больше рыбы и такое обилие хлама, воды и заливов, что ни найти, ни достать ее там грабительницам-воронам, да и с хлебных

полей в тех местах вороны питаются, на помойках и захоронениях дохлого скота пасутся.

Но скорее всего померла скопа от голодной старости, и тело ее ссохлось, упало в камни с одинокого, рыжим пухом к холодам покрывшегося дерева, и там растеребили ее и съели шустрые, старательные мышки. Перья разнесло по родным расщелинам и распадкам, и весной соберут клювами перо малые пташки, устелят, утеплят им гнезда.

Ах, старость, старость — всем-то, всем она не в радость.

Дуда

Я сидел на берегу травянистой реки, в залуках и по тихим протокам разукрашенной белыми лилиями, улыбающимися ярким ртом новому утру и своим соседкам — тугим, на воде пупом завязанным кувшинкам.

Утренний клев давно прошел. Удочку лениво трясли ерши да мелкота, подвалившая к берегу. Солнце было уже над лесом, за пустынной заречной деревней. Река блестела и шевелилась меж шелестящими хвощами, беспрестанно махая кому-то гривкой сизых метелок.

Начало пригревать. Обсохла роса по лугам. Едва ощутимо парили пески и галечные мысы, с ночи зябко влажные. Тальники по берегам, однотонно-серые от мокроты, все явственней проступали по бровкам берегов, отделяясь свежим, зеленым цветом и от гулевой воды и от неподвижных лугов, отгорающих летним цветом. Лишь ромашки светились в логах с открытой доверчивостью да колокольцы, стыдливо склонившись к земле, тихо позванивали кому-то назревшими молоточками семян; оттесненные к лесу сивец, мята, валериана, подморенник, шалфей и всякий дудочник цвели в тени все еще свежо; меж ними синё, почти обугленно темнели могильные соцветья фиолетового чебреца.

Надвигался сенокос. Инвалид за рекой уже сделал первые, поперек угора лежащие прокосы — он всегда раньше всех начинал здесь сенокос и всегда позже всех кончал его: деревяшка у него вместо правой ноги, детей хотя и четверо, но помощники из них никакие — то шибко грамотны и по этой причине склонны к чистой, конторской работе, то еще малые или прикидывались малыми.

Я видел на склоне болотистого косогора глубоко вдавленные в болотину дыры — это инвалид метал сено, шел к стогу с навильником, резко выдергивая вязнущую деревяшку. Баба его, плоская спереду и сзади, принимая навильники, зло их бросала под ноги и притаптывала. С вызовом кричала она мне, бредущему с корзиной по ольховой бровке сенокоса: «Посмотри, посмотри, городской человек, как нам молочко-то дешево достается!..»

А оно всегда и все в крестьянстве так вот нелегко доставалось и достается. Хлеб лишь у дармоедов легок.

Глядя в заречье, исполосованное свежими, пробными прокосами, я вроде бы так вот, с открытыми глазами, и задремал: все вокруг слыша, ощущая и вроде бы даже и видя явственно. Но это были отраженный слух,

отраженное зрение и отраженные ощущения, запечатлевшие явь, существующую во мне и передо мной.

Я не умею спать на ходу, стоя и сидя, — у меня ноги подламываются во сне. На фронте от этого я сильно мучался. А вот мой товарищ-фронтовик, так тот натерел спать на ходу, он только в сторону все норовил уйти, и потому я его держал под руку, как барышню; на привале либо на остановках он давал мне за это поспать лишние минуты, выполняя за меня и мою работу.

И вот — старость ли, бренность ли так называемых минувших лет долят к земле — прикемарил я, сидя на берегу реки, и начал отдаляться от себя и от всего, что было вокруг. И совсем уж свалило бы меня сном и упал бы я с бревна, на котором сидел, но какой-то древний звук, извлеченный из древнего музыкального инструмента, не давал мне вовсе погрузиться в сон. «Что за звук? Откуда?» — угадывал я последним отблеском сознания и не мог отгадать. Звук раздражал меня. Мне хотелось отмахнуться от него и слушать тоже хотелось — звук погружал меня во что-то еще более глубокое, чем сон, такое знакомое, сердцу близкое, родное. Я силился достать памятью, постигнуть этот звук, я потянулся к нему и, шатнувшись, упал с бревна...

Какое-то время я ничего не видел и ничего понять не мог, меня слепило солнцем, отблесками быстрой воды.

Но вот я увидел, узнал, встрепенулся.

По ту сторону реки, впаяв деревяшку в прибрежный ил, стоял знакомый мне заречный инвалид и широко улыбался, открыв искуренные редкие зубы, улыбался моей озадаченности, моему недоумению. А рядом с ним мальчик в белых лаптях, в белых онучах, в рубашке с поясом — этакий юный Лель из русской складной сказки — играл на новеньком березовом рожке.

— Петрович, дуда! — кричал мне инвалид, показывая на мальчика. — Дуда! Я сам изладил! Петрович, проснись!..

Но мне не хотелось просыпаться. Проснувшись, я увижу заросшее бурьяном и кустарником поле, по-за ним пустую деревушку, которую, резвясь, пожгли отдыхавшие здесь прошлым летом пионеры. Они до этого не видели, как горит человеческое жилье. Все видели: спутник, транзистор, телевизор, даже как человек по Луне ходит — видели, но живого пожара не видели, вот и подожгли пустую избу — из любопытства. Ветром подхватило пламя и смахнуло половину пустого села. Дети-пионеры — не знали, что крестьяне в ветер даже печей не топили, боясь пожара. Да что им, нашим многоразвитым деткам, чьи-то жилища — это все им чужое.

Чужого не жалко.

Мужик-инвалид давно переселился на центральную усадьбу колхоза, но покоса старого не бросал и картошки сажал возле старой избы, в своей старой родимой деревне.

Не один год, не один стог сена чернел среди покоса. «Обошелся. Прошлогодними сенами обошелся. А этот стог пушшай стоит. Дожди пойдут, сена не поставишь — сгодится».

Картошки инвалид закапывает на зиму в сосновом бору, в песочную ямку. Как-то пришел весной и предлагает картошек — пропадают, мол. И я понял: не столь уж нужда, сколь тоска по родному углу тянет его сюда, в родное село.

А заделье крестьянин всегда найдет.

Вот дуду изладил, лапти сыну сплел, мать онучки из холста отбелила, рубашечку сшила — нарядили родители парня неразумного под старину, и он, в угоду им, играет на дуде, благо пионеры в джинсах да с транзисторами еще не приехали и стесняться некого.

Это, значит, инвалид с женою прибрались во дворе, пропололи огород, потяпали картошку, пробовали косить, но трава на покосе еще не «подошла» — вот легкой работой они и наслаждаются, отдыхают в родном углу.

Звучит дуда гнусаво, придавленно, даже и не звучит, а блеет в неумелых мальчишеских руках — но все ладнее, все чище звуки ее, и сквозь захлестнутые мокром ресницы я вижу на другом берегу реки как бы разделенную веками, знакомую мне до боли страну под названием «Русь» и слышу древнюю, все еще не угасшую в моем сердце песнь моей прекрасной и далекой Родины.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)